

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 41

1948



Сергей ВАСИЛЬЕВ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Издательство «ПРАВДА»

Москва — 1948

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

Сергей Александрович Васильев родился в 1911 году в городе Кургане. Детство прошло в деревне, среди суровой сибирской природы. Учился в трудовой школе, затем — в Центральном доме искусств имени Поленова, в Литературном институте Союза советских писателей. Был санитаром, рабочим ситценабивной фабрики, грузчиком, актером Мюзикхолла, литработником на радио.

Печатается с 1931 года. Первая книжка стихов С. Васильева, «Возраст», вышла в 1933 году.

Произведения С. Васильева печатались в журналах «Молодая гвардия», «Огонек», «Красная новь», «Крокодил», «Колхозник», «Новый мир» и др.

В годы Отечественной войны С. Васильев работает в армейской печати как поэт и корреспондент газет «Правда», «Известия», «Красная звезда». В это время и после войны выходят сборники его стихов «Поле русской славы», «Портрет партизана», поэмы «На Урале», «Москва за нами», «Москва советская» и др.

За литературную работу С. Васильев награжден пятью правительственными наградами.

ГОЛУБЬ МОЕГО ДЕТСТВА

Прямо с лёта, прямо с хода,
поражая опереньем,
словно вестник от восхода,
он летит в стихотворенье.
Он такой, что не обидит,
он такой, что видит место, —
он находит для насеста
самый лучший мой эпитет.
И ворчит, и колобродит,
и хвостом широким водит...

Мне бы надо затвориться,
не пускать балунью-птицу.
Но я так скажу: ни разу
птицам не было отказу!
С милым гостем по соседству
любю сердцу и перу!..
Встань, далекий образ детства —
белый голубь на ветру.

...Было за́полдень. В ограду
на саврасом жеребце
въехал всадник с мутным взглядом
на обветренном лице.
Всадник спешил. Оставил
у поленницы коня
и усталый шаг направил
сразу прямо на меня.
И, оправя лопотину¹,
он такую начал речь:
— Понимаешь, парень, в спину

¹ Лопотина — по-сибирски верхняя одежда.

угодила мне картечь.
Понимаешь... мне того...
плоховато малость.
Понимаешь... жить всего
ерунду осталось.
Воевал я не за этим! —

И он спину обнажил,
и я в ужасе заметил
кровяные клочья жил.
Я от страху — в палисадник,
Пал в крыжовник и реву...
Только вижу: бледный всадник
опустился на траву.
Только вижу, как баранья
шапка валится на чуб,
только слышу, как страданья
улетают тихо с губ.
Мне, конечно, стало горько,
стало муторно до слез.
Я к нему из-за пригорка,
побеждая страх, пополз.
— Понимаю, — говорю, —
понимаю даже...
Может, спину, — говорю, —
затянуть потуже?
Понимаю, — говорю, —
но куда ж деваться? —
(Говорю, а сам горю,
не могу сдержаться.)
Теребя траву руками,
всадник веки затворил
и, тяжелую, как камень,
чуя смерть, заговорил:

— Ты — челдон, и я — челдон,
оба мы — челдоны...
Положи свою ладонь
на мои ладони.
Слышишь, сполохи гудут
по всему заречью?
Беяки по нашим бьют
рассыпной картечью.

На семнадцать верст окрест
белые в селеньях,
так, что, кроме этих мест,
нашим нет спасенья.
Я, родной мой, прискакал
на заимку эту,
чтобы красный дать сигнал,
если белых нету.
Мы бы стали по врагу
бить из-за прикрытья...
Понимаешь, не могу
далее говорить я... —

Было душно. К придорожью
медом веяло с гречих.
Всадник вздрогнул страшной дрожью,
отвернулся — и затих.
Я, конечно, понял сразу
то, что он не досказал.
Я, конечно, без наказа
понял, что он наказал.
Я, конечно, понял сразу —
надо выбросить сигнал!
Я — к избе. Комод у входа.
Я беру в расход комод.
В верхнем ящике комода
ходит ветер круглый год.
В среднем ящике комода —
канитель такого рода,
что сам чорт не разберет!
В нижнем? Очень интересно:
в нижнем, в ворохе тряпья,
теткин шелковый воскресный
полушалок вижу я.
Полушалка мне не жалко —
я его напополам.
Мне не жалко полушалка...
На чердак бегу. А там —
со своей подругой вместе,
боевой и злой на вид,
на березовом насесте
голубь мраморный сидит.

— Что ж, — кричу, — послужим, дядя!
Повоюем на лету!—
И, багровый шелк прилады
к голубиному хвосту,
я свищу: «Вали на волю!»
И пошел винтить трубач
по воздушному по полю
сумасшедшим лётom, вскачь,
то петлями, то кругами,
то в разлете холостом.
И багровый шелк, как пламя, —
за его густым хвостом.
То на выпад, то на спинку,
то как ястреб от ворон...

Вихрем прибыл на заимку
партизанский эскадрон.
Солнце падало. Смеркалось.
Скрылись белые за мыс.
Восемь раз грозить пытались,
восемь раз стекали вниз.
Над заимкой тучи плыли.
У заката на виду
люди всадника зарыли
под калиною в саду.
И поставили подсолнух
у него над головой,
и не дрогнул тот подсолнух
и стоял, как часовой.
А когда дневное лихо
заступили тьма и тишь, —
эскадрон ушел по тихой
дальним бродом за Иртыш.
И не мог я наглядеться
на подсолнух ввечеру.

О, далекий образ детства,—
белый голубь на ветру!

1935.

НАТАША

Мы вошли в деревню с боем на рассвете.
Надрывался ветер. Обжигал мороз.
Нас встречали с плачем женщины и дети,
белые от снега, желтые от слез.
Первая навстречу бросилась Наташа,
худенькая девочка, продранный рукав.
— Я ждала!

Я знала!

Вот листовка ваша! —
лепетала девочка, вдруг ко мне припав.
И рукой, озябшей, крохотной и ловкой,
отогнула девочка шубки отворот
и дала мне в руки темную листовку,
ту, что мы бросали здесь на новый год.
Я вошел с ней в избу, — холодно и пусто,
только ветер воет в дымовой трубе.
Ни краюшки хлеба, ни листка капусты
не оставил немец в маленькой избе.
Я узнал, что немцы увели с собою
на глазах у девочки плачущую мать,
что недавно девочку круглой сиротою
хмурые соседи стали называть.
А еще мне девочка робко, виновато
сообщила, голову опустив слегка,
что похож лицом я на родного брата,
на ее любимого брата Василька.
Вася-Василечек, что с тобою случилось
за Днестром,

за Доном

или у Двины!

Только помнит девочка, что она рассталась
с добровольцем-братом в первый год войны.
Я сидел с Наташей, тихий и смущенный,
я утер ей слезы стиранным платком,
я ей хлеб намазал пожирней сгущенным
ледяным, пайковым, сладким молоком.
Долго мы молчали, слова избегая,
облитые светом жидкого огня,
а потом сказал я:
— Вот что, дорогая,
с этих пор братишкой ты зови меня!

Западный фронт. 1942.

ЗЕМЛЯКАМ-СИБИРЯКАМ

Я вас славлю за героизм,
за умение воевать,
за решительное свойство
никогда не унывать;
за обычай рвать с размаха
вьюги огненной кольцо
и всегда глядеть без страха
смерти ветреной в лицо;
за любовь к своей винтовке,
за привычку к зимовью,
за ухватку, за сноровку,
за находчивость в бою;
за искусство видеть зверя
в глубине лесных берлог,
за умение твердо верить
в свой охотничий зарок;
за упрямый норов ловчий,
перешедший в мастерство,
за особый говор певчий
с ударением на «о».

Я вас славлю за единство,
за пленительный, простой
братский дух гостеприимства,
за характер золотой;
за выносливость, которой
нет преград и нет застав,
за могучий рост матерый,
за крутой гвардейский нрав;
за испытанный таежный,
с детства выверенный слух,
за хозяйственный, надежный
ум, который лучше двух.
Славя вас и воспевая,
я горжусь, что у меня
есть такая боевая
знаменитая родня!

Западный фронт. 1942.

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

Медленно и бережно ступая,
мы идем под небом голубым,
в полевых ромашках утопая,
вежливо дорогу уступая,
синим колокольчикам степным.
Любо здесь увидеть стаи птичьи
и не видеть дым пороховой.
Вот оно во всем своем величьи,
поле нашей славы боевой.
Вот оно простерлось перед нами.
Встань к нему, родимому, лицом,
полюбуйся пышными цветами,
политыми кровью и свинцом.
Всё, что было выжжено и смято,
заново оделось в зеленя.
Но хранит земля торжественно и свято
страшный стон железа и огня.
Кажется, пригнись к земле холодной,
чутким ухом ближе припади, —
и услышишь звук трубы походной
у пригорка тихого в груди.
Это здесь под хмурым небом бранным
шел туляк на смертный бой с врагом,
пробивая путь себе трехгранным,
кованым, карающим штыком.
Это здесь в немыслимом разгоне
на роскошных седлах расписных
в бой несли каурой масти кони
забубенных всадников донских.
Это здесь на голубом просторе,
на виду у меркнувшей зари,
разливали огненное море
яростные наши пушкари.
Это здесь, на этом самом месте,
не ходивший к страху на поклон,
испытав всю жгучесть нашей мести,
содрогнулся сам Наполеон.
Поле брани! Поле русской славы!
Это здесь, черней горелых пней,
полегли немецкие оравы
под огнем советских батарей.

Русский воин! Разве ты в неволе
можешь быть, пока ты сердцем жив?
Разве ты минуешь это поле,
гордой головы не обнажив?
Разве вдохновенно и сурово
слово клятвы вслух не повторишь?
Разве боевое это слово
в славные дела не воплотишь?
Где б ты ни был, честный русский воин,
помни: о тебе гремит молва.
Будь всегда носить в крови достоин
гневный жар великого родства.
Бейся в схватках равных и неравных
до конца! Плати врагу сполна!
Помни, что ты правнук и праправнук
доблестных солдат Бородина.

1942.

ТРОЕ У КОСТРА

У костра сидели трое.
Три гвардейца. Три героя.
После легкого раненья
каждый малость похудал,
каждый, кончив курс леченья,
на Берлинском направлении
догонял подразделение,
от которого отстал.
Ордена на гимнастерках.
Свой у каждого горох,
сахар свой, своя махорка,
а костер один на трех.
На горячий уголек
был поставлен котелок.
В котелке уже кипело,
но на пробу не поспело.
— Да, — сказал крымчак, — года,
не забыть их никогда!
— Да, — волжанин отозвался, —
в сорок первом-то году

я, как в Горьком призывался,
не имел того в виду,
что три года с лишним мне
жить придется на войне.
— Много ждал, теперь немножко,
скоро точка так и так! —
в котелке мешая ложкой,
отозвался сибиряк.
Помолчали, покурили
и опять заговорили:
— Как оглянешься, ребята,
ох, и важный мы народ!
Друг за друга, брат за брата,
и ничто нас не берет.
Всем известно: немец — сила,
но сломили и его.
— С непривычки трудно было,
а привыкли — ничего!
— Да, браток, а ведь бывало,
хоть ложись да волком вой.
Помню, наша часть стояла
по-над Западной Двиной.
Завязалась работа
у побережья на косе.
Немцев — полк, а наших — рота,
и припасы вышли все.
Справа — немцы, слева — тоже,
и к отходу путь закрыт.
«На штыки одна надежда!» —
командир нам говорит.
Словом, так, что или — или:
либо яма, либо гать.
Наспех мы перекурили
и пошли «снопы» кидать.
Так им дали, что едва ли
каждый третий уцелел!
— В сорок первом им давали,
а теперь сам бог велел!.. —
Улыбнулись. Помолчали.
Хлеб достали из мешка.
Неспеша на землю сняли
котелочек с уголька.
Ложки весело достали,

с аппетитом похлебали,
и заснули у костра,
и проспали до утра.
Одному приснился тополь,
птица чайка на лету,
милый город Симферополь
весь в сиреновом цвету.
А другому, молодому,—
старый дом на бугорке,
верба в серьгах возле дома,
волжский берег в ивняке,
малых волн призыв печальный,
звон далекой наковальни,
на черемухе щеглы,
запах дегтя и смолы.
И себя увидел в лодке,
в вышивной косоворотке,
и ее вблизи, рядом,
в красном платье, босиком.
Третий спал без сновиденья.
Сны считал он пустяком,
не достойным сожаленья.
Третий был сибиряком.

*1-й Украинский фронт.
1945.*

ОДА РУССКОЙ ПУШКЕ

Всему свой срок. Всему своя пора.
Однако память воскрешает снова
огонь бомбарды Дмитрия Донского
и гром мортир Великого Петра.
Всему свой час. Всему своя причина.
Но оседает времени гряда,
и возникает давняя картина —
минувших дней горячая страда.
И мы, как благодарные потомки,
оглядываясь в этот день назад,
не только слышим грохот канонад —

мы слышим, как скрипят постромки,
как взмыленные лошади храпят,
как стынет медь, мгновенно багровея,
как робко смотрит дымная заря
в окно литейной Чохова Андрея,
первейшего в России пушкаря.
Мы видим бородинские увалы
и ту огнеупорную черту,
что так непостижимо ограждала
Малахова кургана высоту.
С полтавских рвов, от Шипки, из-под Плевны
необоримый русский канонир
вздывает славу пушки нашей гневной,
своим огнем недавно спасшей мир.
Великая заступница России!
Она стоит, как верный часовой,
храня просторы многоверстовые
под Питером, под Псковом, под Москвой.
Одолевает снежные вершины,
буран в полях, густую мглу в горах
прославленная дивная машина
на двух колесах, как на двух крылах!
Как молния, в столетях пролетая,
разят гостей непрощенных подряд
ее ядро, ее картечь литая,
ее у цели рвущийся снаряд.
На слитках благородного металла
история правдивою рукой
высокие отличья начертала
в ее богатый список послужной.
И самую чудесною страницей
в отважном этом списке послужном
навек для России сохранится
последних лет победоносный гром.
Запомнят наши правнуки с любовью
и, вспомнивши, не раз благословят
священные равнины Подмосковья,
Одессу, Ленинград и Сталинград.
Советской пушки грозная работа
дорогу проложила прямоком
и распахнула тяжкие ворота
в заветный день к Победе над врагом.
Сплошной стеной из огненного сплава

внезапно оказались для врага
Нева и Волга, Клин и Балаклава,
и тихий Дон, и Курская дуга.
До черного Берлина докатился
огонь тяжелых наших батарей.
И в этом с новой силой повторился
далекий подвиг предков-пушкарей.
Идет в веках походкою державной
наш огневой, неодолимый вал.
Вот почему ударной силой главной
Великий вождь орудия назвал.
Вот почему по долгу и по праву
мы всем народом гордо нарекли
День русской Артиллерии Днем Славы
всей нашей независимой земли.

1945.

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

Гром пушек смолк. Победным светом вещим
озарены просторы наших нив, полей и рек.
И первого, кому мы рукоплещем,
мы называем: русский человек.
Вот он стоит, отвагою богатый,
сто тысяч верст проделавший пешком,
застенчивый, немного угловатый,
с челябинским иль волжским говорком.
Мне всё в нем любо. Жар его природный,
и грусть его, и давняя мечта
о счастье, о свободе всенародной,
и искренность его, и широта,
и выдумки его, и присказки, и пенье
протяжных песен о своей судьбе,
и гордое его многотерпенье,
не знающее равного себе.
В дни обороны, в пору наступленья
порыв и месть шагали в ногу с ним,
он был всегда примером вдохновенья
многоплеменным братьям боевым.

Он всё прошел. Он видел в жизни виды.
Он испытал в решительном бою
и гнев святой, и ярость от обиды,
и скорую отходчивость свою.
Он правды добивался неуклонно,
как верный страж своей родной земли.
Не потому ль насильников знамена
к его ногам (в который раз!) легли?
Гордись, мой друг, что ты есть сын России,
сын рек ее, лесов, озер и нив,
что ты прошел сквозь ливни грозовые,
усталой головы не наклонив.
С непоколебимой твердостью героя
ты защитил в бою и отстоял
советское отечество родное,
ты совестью, надеждой мира стал.
Пускай тебя кружили непогоды,
но счастлив будь безудержно, до слез,
что принял ты в младенческие годы
благословенье северных берез.

1945.

РОССИЯ

Люблю тебя, моя Россия,
за ясный свет твоих очей,
за ум, за подвиги святые,
за голос звонкий, как ручей.
Одною, общею судьбою
навек связанный с тобой,
горжусь, как матерью, тобою,
благословляющей на бой.
В дни расставанья, в миг разлуки
целую мысленно всегда
твои натруженные руки
в часы бесменного труда.
В глухую ночь грозы военной
и в светлый полдень торжества
несу в себе, как дар бесценный,

огонь великого родства.
В землянках, избах и хоромах
равно прекрасен твой наряд.
Люблю буран твоих черемух
и твой червонный листопад.
Люблю твои луга и нивы,
прозрачный зной твоих равнин,
к воде склонившиеся ивы,
верха пылающих рябин.
Но я пою и славлю ныне
не твой ромашковый покой,
я славлю Русь, как героиню,
как землю гордости людской.
Люблю тебя, моя Россия,
за твой характер боевой,
за испытанья грозовые,
за величавый облик твой.
Люблю за то, что первой в мире,
законы рабства истребя,
бесправья тягостные гири
ты гневно сбросила с себя.
Что на развалинах царизма
своею собственной рукой
воздвигла ты, моя Отчизна,
мир справедливости большой.
И в час, когда пора настала
оборонить его в бою, —
ты в полный рост отважно встала
за правду светлую свою.
Люблю тебя за то, что снова
в борьбе свободу ты спасла,
что ты решающее слово
с мечом в руках произнесла.
Твои штыки на солнце блещут,
твои огни в ночи горят,
перед тобой враги трепещут,
тебя друзья боготворят.
Твоя ликующая сила
под сенью стягов огневых
объединила и сплотила
семью республик молодых.
Не счесть теперь твои богатства,
не разомкнуть священных уз,

не разделить знамена братства
и не расторгнуть их союз.
Прямым путем деяний славных
ты с честью вышла на простор
по праву первой среди равных
твоих пятнадцати сестер.

1946.

НАШЕЙ ЖЕНЩИНЕ

Нет в этом лести, и нет в этом вымысла:
сколько ты вместе с подругами вынесла,
сколько трудилась ты в годы военные,
сколько крепилась ты в ночи бессменные,
сколько под смертью была ты и около,
сколько ты рыла, пилила и штопала,
сколько дорог ты измерила, быстрая,
выстояв в непогоду, вытерпев, выстрадав,
сколько обид и невзгод испытала ты,
сколько колючих снопов навязала ты,
сколько ты слез над сиротской тетрадкой
в пасмурный день уронила украдкой,
сколько карающих мин начинила ты,
сколько пылающих ран залечила ты!

Старая ты или ты моложавая,
русая с виду ты или чернявая,
с проседью ты или с косами длинными,
Ксаной зовут тебя или Мариною,
в синей спецовке ты или ты в форменке,
в белом халате иль в стеганке порванной,
в дымной шинели иль в новеньком платьеце, —
пусть твоя жизнь по заслугам наладится.

Славлю терпенье твое исполинское,
бедное сердце твое материнское,
добрую душу, глаза непокорные,
умные, милые руки проворные.

1946.

ПРЯМЫЕ УЛИЦЫ КУРГАНА

Кургана улицы прямые!
Увидев вновь вас, понял я
с особой ясностью впервые,
что это родина моя.
Всё тот же дом, последний с края,
всё та же верба сторожит.
Здесь дым младенчества витает
и прах родительский лежит.
Босыми шлепая ногами
по теплой пыли городской,
я здесь пронес сиротства камень
и холодок любви мирской.
Но я ничуть не укоряю
ни мрак нужды, ни холод зим,—
я всё теперь благословляю
и всё считаю дорогим.
Здесь знаю я любые вышки,
любой забор, любой квартал,
здесь я читал еще не книжки,
а только вывески читал.
Я здесь могу найти вслепую
любое прясло с деревцом,
любую лесенку, любую
калитку с кованым крыльцом.
Здесь дождевой порою вешней
на толстых сучьях тополей
крепил я легкие скворешни,
гонял со свистом голубей.
Да, я люблю любовью давней,
как вежи собственной судьбы,
и эти створчатые ставни,
и телеграфные столбы,
и крыш убранство жестяное,
и звон бубенчиков в ночи,
и в небо ввинченный ночное
бурав пожарной каланчи.
Прямые улицы Кургана!
Я вновь и вновь на вас смотрю
и говорю вам без обмана,
как сестрам брат, вам говорю:
хотя внезапная разлука

и разделила вас со мной,
мне не забыть родного звука —
метели посвист ледяной.
И если есть во мне хоть малость
того, что следует беречь, —
так это ваша власть сказалась
и отложилаась ваша речь.
И если ярость азиата
во мне, как брага, разлита, —
так это ваша виновата
сквозная даль и прямота.

1946.

МОЙ НОВОГОДНИЙ ТОСТ

Бьет копытами у ворот
необъезженный Новый год,
стригунком храпит у дверей,
синий пар валит из ноздрей.
Трезвый месяц глядит в окно,
в толстых рюмках горит вино.
На столе пироги велики,
за столом сидят земляки.
— Ну, скажи! — говорят они. —
Только очень-то не тани!
Поднимаюсь и говорю
прямо на ухо январю:
— Мой новогодний тост
сразу — за зюд и ост!
За светлый герб золотой
нашей земли святой.
За русский неистовый наш простор,
за сосны в снегу,
за розы в цвету,
за крымский миндаль,
за курганский бор!
За чистую, длинную эту деревню,
вставшую под бугром,
за коронованные деревья
кованым серебром.

За награжденное это небо
блеском отважных звезд,
за согревающий запах хлеба
мой новогодний тост!
За молчаливых моих земляков,
за хлеборобов и рыбаков,
за тех, кто пришел и кто был сражен,
за их терпеливых жен.
За зоркость стрелка,
за топор дровосека,
за мудрость того, кто велик и прост.
За самого главного человека
мой новогодний тост!
За мечту, за волшебную неизвестность,
близкую к чудесам.
За то, чтоб когда-нибудь в эту местность
человек тот приехал сам!

1946.

КОЛХОЗНЫЙ УЧЕНЫЙ

Летом,

зимой,

весною —

нету ему покоя.

Словно всегда летит он вслед за своей мечтою.
Ровный, тихоголосый, с ласковыми глазами.
рвется он в драку с вьюгой, спорит он с небесами.
Рослый, сутулый, крепкий, по полю он шагает,
и говорят, что очень Горького напоминает.
Тот же огонь во взоре, та же любовь к народу,
так же умно и жадно смотрит он на природу.
...Тихо, тепло и чинно в хате-лаборатории,
долго еще до сева, сроки еще не скорые.
Воет бурян над крышей, зёрна в мешочках дремлют,
снится им майский ливень, падающий на землю.
Здесь их не счесть: белесые и сизовато-синие,
есть земляки из Индии, братья из Абиссинии.

Климат надел на зерна разных цветов одежды; одни — с Пиренеев, другие — с мыса Доброй Надежды. Каждому выдан номер, каждому паспорт выдан, каждый живет на свете с самым серьезным видом. Скоро исчезнут колбы, круглых спиртовок копыт. (Просто хозяин опыт прошлого года копит.) Вот погоди — свершится, сева пора приспее, встанет ученый рано, зерна свои посеет. В тучах гроза промчится, грома прольется голос. Зерна полезут в трубку, выкинут острый колос. Долго, гуляя в поле, будут люди дивиться, какая в местах суровых вдруг родилась пшеница! Сколько ее здесь разной, только ходи да трогай, — стрельчатой, вислоухой, низкой и длинноногой. Эта вот спеет скоро, тянется вверх проворно, но ни за что на свете не потеряет зерна. Эта вот, золотая, так и ведет усами, дружит — поймите сами! — с гиблыми солонцами. Эта блестит на солнце, вроде штыка, а эта бледная и худая, почти воскового цвета. Та не боится засух, той нипочем морозы, ту, вероятно, и будут здесь разводить колхозы. Только пока не будет точно дано ей имя: надо ее проверить в скрещиванье с другими.

Выйдет ученый в поле, выйдет один с рассветом, выберет тучный колос, взрежет его ланцетом. Сдвинутая умело легким прикосновеньем, ляжет пыльца на пестик розовым дуновеньем... Вздогнет упругий стебель всем своим тонким телом. Это и будет в поле самым нелегким делом. Тут полевод-ученый вымолвит: — Ну, работа! — и обмахнет ладонью крупные капли пота. ...Шастают волки в поле. Воет буран над хатой. Грозно стучится в стекла снежный февраль косматый. Книжки молчат на полках, зерна в мешочках дремлют, снится им майский ливень, падающий на землю. За полночь время тянет. За полночь за прибором в хате сидит ученый с горьковским жадным взором. Всё он чего-то ищет, слава и умножая силу советских пашен, молодость урожая. Если случится, часом, в чем-нибудь ошибется, встанет с досады, быстро вдоль половиц пройдет.

Он не кончал институтов, он не кончал академий,
не получал пока что международных премий.
В каждом рисковом деле выйти ошибка может.
Люди его поддержат, Сталин ему поможет.

1946.

МОЙ БРАТ КУЗНЕЦ ЖОРА

В тесной кузнице жара.
Искры, будто мошкара,
набирают высоту,
угасают на лету.
Неохотно и не скоро
дышат черные меха.
Лечит Жора без разбора
ребра сломанной рессоры,
передки и лемеха.
Он своей рукой бывалой
за каких-то полчаса
надевает обод алый
на горбулю колеса.
Бойко, ходко, моментально,
то вприпрыжку, то бочком
молоток на наковальне
так и вертит каблучком.
И летят на землю сами
из-под пляшущей пяты
скрепы с острыми концами,
перехваты и болты.
Будут век скрипеть ворота.
Не сорвать доски с гвоздей!
Но заглавная работа —
этоковка лошадей.
Заведут коня в станок —
не шелохнется конек.
Не до прыти, не до пляски,
если схватят опояски.
Подходи к коню, любуйся,
Хоть он сер или каур.
— Ну, коняга, не тушуйся,
будем делать маникюр!

На дворе под сквозняками
жжет железо, как огнем.
Жора голыми руками
управляется с конем.
Раз приладит — и готово, —
как на гладком чертеже,
и горячая подкова
припечатана уже!
— Ну, хозяин, горя нету,
не жалеи теперь овса:
подковал твою карету,
все четыре колеса! —

Крякнул Жора. Улыбнулся.
Как-никак, а он домой
из Германии вернулся
с уцелевшей головой.
Ранен раз и раз контужен,
ноют косточки — беда!
Но еще народу нужен
и в работе хоть куда.

Я гляжу на брата Жору,
как на бога, в этот миг.
Мне, признаться, в эту пору
не до тонкостей моих.
Я гляжу на дело это,
с восхищением бормоча:
— Вот бы мне пером поэта
так же действовать сплеча!
Вот бы мне такое слово
огневого образца,
чтоб ложилось, как подкова
на копыто жеребца.

Чтоб могло оно по чести
мой характер выражать,
чтоб могло на скользком месте
человека удержать,
чтобы с ним взбираться в гору
не во сне, а наяву.
Чтобы мне братишку Жору
обогнать по мастерству!

1946.

НА РЕКЕ ТОБОЛ

Не быстра река Тобол и не светла.
Вдоль по берегу качается ветла.
Не быстра река Тобол, не глубока
и ничем-то не прославлена пока.
Обошли Тобол и слава и почет,
потихоньку подо льдом себе течет.
Добирается, журча да не спеша,
до широкого красавца Иртыша.
Думу думает угрюмую свою,
катит мутную тяжелую струю.
Но бывает и Тобол совсем иной,
только дай ему увидеться с весной.
Весь надуется, взбунтуется Тобол —
и пошел тогда бесчинствовать, пошел!
Сразу станет шириною в три версты,
на бегу сорвет плотины и мосты,
подомнет на поворотах берега
и затопит огороды и луга.
Неожиданно низинной стороной
в темноте ворвется в город, как шальной,
смоет бревна, палисады у оград,
и никто ему тогда уже не рад.
Больше месяца волнуется народ.
Перебесится Тобол — и отойдет,
побуянит и опять пойдет шажком,
как киргизская лошадка с норовком,
как в запрошлом, так и в будущем году,
у безжалостного зноя в поводу.
Пересохнут все широкие места
так, что курица не вымочит хвоста,
так, что сваи заскрипят, как костыли,
так, что жуки издыхают на мели.
...Вечереет над Тоболом над рекой,
возле проруби — безмолвье и покой.
Как оглянешься, — как будто ни души,
но уйти с Тобола сразу не спеши.
С бисеринками-дробинками в очах,
с самодельным коромыслом на плечах,
в подшивных пимах шагает от моста
северяночка — гордячка-красота.
На пуховом полушалочке снежок,
на шубейке опояска-ремешок.

Что-то в городе не видел я такой,
по всему видать, деваха с Иковской.
Уж как был бы я бы парень холостой,
непременно бы сказал я ей: «Постой!
Ты постой, постой, красавица моя,
дай мне наглядеться, радость, на тебя!»

1946.

НА ЛЫЖАХ

Еще закат застенчив и не ярок.
Застыл косач высоко на суку,
подсаженный, как праздничный подарок,
старательному деду-леснику.

Бежит лыжня, искрясь и розовея,
и пропадает где-то за сосной...
Но я беру значительно левее
и направляю лыжи целиной.
Зачем идти накатанной дорогой,
когда в открытом море белизны
за этою поляною отлогой
такой простор и столько новизны!
Конечно, с боем каждый шаг дается,
конечно, в жилах пролетает зной,
зато победный флаг землепроходца
непримиримо вьется надо мной.
Еще рывок. Еще два трудных шага —
и взят подъем. И празднует душа.
Уж снег — не снег, а чистая бумага.
Не палок взмах, а взлет карандаша.

1946.

КРЕМЛЬ НОЧЬЮ

Не слышать дневного гула.
Стынет камень плит.
Тишина.

Москва уснула.

Только Кремль не спит.
Весь огнями изукрашен
стрельчатый посад.
Девятнадцать грозных башен
время сторожат.
Вдоль по каменной зубчатке
легким сквозняком
пробегают без оглядки
ветер босиком.
То на башенной макушке
флюгер шевельнет,
то опустится к Царь-пушке,
ядра перечтет.
То лихой мотив затянет
новым песням в лад,
то на цыпочки привстанет
и нечаянно заглянет
в глубину палат.
А кремлевские палаты
чудеса таят.
Чудодеи-аппараты
на столах стоят.
По невидимой проводке,
по путям прямым
говорит с Кремлем Чукотка,
срочно вызван Крым.
Для решительных полемик
ночью во дворец
прибыл старый академик,
маршал и кузнец.
Люди дела и сноровки
на доклад пришли.
Знатоки литья иковки,
мастера земли.
Принесли с собой детали,
снимки, чертежи,
воронные слитки стали,
верна спелой ржи.
Утверждаются указы,
цифры срочных смет.
Двум большим державам сразу
пишется ответ.

Неотложная работа
гонит дрему прочь.
И все время ждут кого-то
Боровицкие ворота,
раздвигая ночь.
Жар ночной работы долгог...
Наконец, дремля,
блекнет, меркнет млечный полог
звездного Кремля.
Гаснут тихо друг за другом
люстры всех палат.
И летят машины цугом
в гору, на Арбат!
...Меркнет глаз въездного знака.
Кремль замолк опять.
Но, прислушавшись, однако,
можно услышать:
кто-то чем-то очень глухо
прозвенел в ночи.
То история-старуха
достаёт ключи.
Сразу связку вынимает
кованцев больших
и со связкою шагает
мимо часовых.
Открывает двери тихо
с навесным замком.
Ей тут, верно, каждый выход.
каждый вход знаком...
Мимо пестрых узорочий
под граненый свод
прямо к Сталину в рабочий
кабинет идет.
Подошла, взглянула строго,
вслух произнесла:
— Вижу я, что дела много,
даже ночь мала.
Что ж, идти к великой цели
так и суждено!..
А рассвет уж еле-еле
побелил окно.
Поздних звезд ночное просо
ветер сдул с небес.

Первый стриж пронесся косо
снам наперерез.
Над Москвой-рекою стало
всё уже видней,
и туман своих усталых
расседлал коней.

1947.

У МАВЗОЛЕЯ

В который раз я на месте этом,
а сердцу кажется, что впервые!
Стоят здесь молча зимой и летом
в камень вросшие часовые.
Благоговейно, в раздумье строгом,
медленно я прохожу пред ними
и так же медленно, слог за слогом
произношу дорогое имя.
— Ле-нин! — шепчу я, а за спиною,
за распрявленной спиной моею,
кто-то такой же, как я, за мною
так же движется к мавзолею.
Его не трудно смешать с другими.
Он шапку снял. Показалась проседь.
Я слышу, слышу: он то же имя
и так же медленно произносит.
А вот шагает меня моложе,
совсем зеленый юнец шагает.
Опять я слышу: он имя то же
беззвучно, трепетно называет.
Еще я вижу: идет прохожий,
прямой, торжественный, смугловатый,
на нас троих уже не похожий,
в чалме высокой, в цветном халате.
За ним идет человек незрячий,
ведет его девочка-проводница.
...Течет неслышный поток горячий,
сердец задумчивых вереница.
Мы — правнуки Ленина, внуки, дети,
нас много, ленинцев. Очень много!..

И всех ведет нас на этом свете
одна дорога.
Бьют куранты на башне Спасской,
на подвиг кличут радиотрубы,
время движется вечной сказкой.
— Ленин! — восторженно шепчут губы.
— Ленин! — глубоко, по-человечьи
звонит окрыленное навеки слово.
— Ленин! — где-то в Замоскворечье
вторит голос гудка заводского.
— Ленин! — мы произносим в истоке,
у самого края его могилы.
И дивное эхо огромной силы
слышат люди во Владивостоке.
Солнце катится в небе чистом.
Пахнет день тополиным клеем.
И ласточки с легким внезапным свистом
низко проносятся над мавзолеем.
Проходит камень под их крылами,
такой прекрасный и благородный,
как будто вымыт он не дождями,
а горькой, светлой слезой народной.

1947.

НА ПЛОЩАДИ ПУШКИНА

Я старше тебя, моя дорогая,
на целый десяток лет.
И то, что мне помнится, я полагаю,
скрывать оснований нет.
В Москву я приехал — мне было 15,
а нынче мне — 35,
и если оглянешься, — надо признаться:
Москву не узнать!
Ты видишь, просторная площадь какая
пред нами с тобою легла,
А прежде она называлась Страстная
и тесною очень была.
И многих фасадов, и дальних и ближних,
не мог человек разглядеть.

толкучка столбов, да горбатый булыжник,
да стен монастырская клеть.
Я помню отлично здесь каждую малость,
все тумбы на стыке с Тверским.
И как это всё постепенно менялось
и стало совсем не таким.
Я помню, как здесь трамбовали и рыли,
мели и скребли добела,
как розовым облаком медленной пыли
вся площадь покрыта была.
Как дом на углу оказался помехой
и был за полсуток снесен,
как левый сосед его вглубь переехал
и тем оказался спасен.
Несутся над площадью буквы живые,
иной освещают уют,
и люди по площади ходят иные
и песни иные поют.
Другое лицо у надстроенных зданий,
другой у аптеки фонарь.
И только заветное место свиданий
осталось таким же, как встарь.
Всё с тем же внимательным, гордым поклоном
по отблескам тех же примет
встречает несметные толпы влюбленных
закованный в бронзу поэт.

1947.

ГОВОРИТ МОСКВА!

«Говорит Москва!» «Говорит Москва!»
В бездне воздушного океана
пенятся искренние слова
гордого города-великана.
Говорит Москва на такой волне,
что держит звуки, не понижая.
С доблестным солнышком наравне
движется правда ее большая.
Самый немыслимо дальний край
ловит

могучие эти звуки.

Слышит нас Корсика и Китай,
слышит Конго и штат Кентукки.
Да, мы — Москва. Боевая знать.
Трех революций дети.
Нас не сломить и не запугать
никогда. Ни за что на свете.
Да, мы — Москва. Тридцать лет подряд
тем наша подпись и знаменита,
что знатоки о ней говорят,
как о незыблемости гранита.
Да, мы — Москва. Если мы даем
слово дружбы и слово чести,
мы это слово не продаем
ни в каком потаенном месте.
Да, мы навеки друзья тому,
чья душа негасимой мечтой согрета,
кто неустанно идет сквозь тьму
в сторону истины и рассвета.
Да, мы навеки враги для тех,
кто на основе законов злобных,
ради утробных своих утех
сделал рабами себе подобных.
Да, мы — ленинцы до конца,
да, мы — сталинцы по природе.
Не переменятся наши сердца
ни при какой погоде!
...Выключил свой микрофон Левитан.
Бьет двенадцать у мавзолея.
А где-то, быть может, у египтян,
стало куда на душе светлее.

1947.

СОДЕРЖАНИЕ

Голубь моего детства	3
Наташа	7
Землякам-сибирякам	8
Поле русской славы	9
Трое у костра	10
Ода русской пушке	12
Русский человек	14
Россия	15
Нашей женщине	17
Прямые улицы Кургана	18
Мой новогодний тост	19
Колхозный ученый	20
Мой брат кузнец Жора	22
На реке Тобол	24
На лыжах	25
Кремль ночью	25
У мавзолея	28
На площади Пушкина	29
Говорит Москва	30

Редактор С. ШВЕЦОВ

А — 11312.	Тираж 150 000.	Подп. к печати 25/XI—48 г.	Заказ 2445.
------------	----------------	----------------------------	-------------

Типография газеты «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 40 коп.

оли
400 **МОЖНО**
ВЫИГРАТЬ

ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
3%
ВНУТРЕННЕМУ
ВЫИГРЫШНОМУ
ЗАЙМУ
го
100.000
рублей

*Приобретайте облигации
3% займа*

ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА ПРОДАЮТСЯ И ПОКУПАЮТСЯ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ